



**Владимир МАЛАХОВ**

Национализм в мировой истории / Под ред. В. А. Тишкова и В. А. Шнирельмана; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, РАН. Москва: “Наука”, 2007. 601 с., ил. ISBN: 5-02-035527-5.

Книга представляет собой собрание статей, возникших из докладов, которые авторы сделали в период работы междисциплинарного семинара о национализме, проходившего в Институте этнологии и антропологии РАН. Руководители семинара В. А. Тишков и В. А. Шнирельман (они же выступают как редакторы книги) предоставили участникам максимальную свободу и в выборе тем,

и в жанре их презентаций. Такой подход имеет как свои преимущества, так и свои издержки. С одной стороны, многоплановость сюжетов, обсуждаемых авторами, демонстрирует головокружительное разнообразие явлений, объединяемых под рубрикой “национализм”. С другой стороны, отсутствие рамок не могло не сказаться на структуре сборника, которая производит впечатление некоторой искусственности. Если первая часть хотя бы формально сфокусирована на методологических аспектах “nationalism studies” (она озаглавлена “Общие подходы и интерпретации”<sup>1</sup>), то граница между двумя последующими – “Исторические и региональные формы национализма” и “Национализм как символический дис-

<sup>1</sup> По правде говоря, содержание раздела, носящего столь многообещающее название, разочаровывает. Споры нет, его авторы, Рональд Суни и Лия Гринфельд – видные специалисты, но в международном национализмоведении на сегодняшний день найдется десятка полтора специалистов с не меньшей известностью и, возможно, с большим влиянием. См.: Национализм и формирование наций. Теории – модели – концепции / Под ред. А. Миллера. Москва, 1994; В. В. Коротева. Теории национализма в зарубежных социальных науках. Москва, 1999.

курс” – кажется довольно условной. Многие из статей третьей части вполне могли бы войти во вторую и наоборот.

Введение (авторы – В. А. Тишков и В. А. Шнирельман) столь насыщено методологической рефлексией, что ему впору было бы войти в теоретическую часть сборника. Текст же Лии Гринфельд, включенный в теоретическую часть, вряд ли можно счесть вкладом в методологию исследований национализма. Он возник из лекции, прочитанной американской исследовательницей в Лондонской школе экономики в апреле 2004 года. Автор поначалу развивает свой известный тезис, согласно которому национализм есть не что иное, как современный способ картографирования мира. Человек эпохи модерна концептуализирует социальную и политическую реальность в национальных терминах (деление мира на нации-государства, национальная принадлежность как основание самоидентификации и т. д.), и в этом смысле он – “националист”. Мысль небесспорная, но доказуемая. А вот в дальнейшем изложении Гринфельд как будто подменили. Она начинает утверждать, что национализм – это болезнь. Причем не в фигуральном смысле (как отклонение от либеральной космополитической морали), а в самом что ни на есть

медицинском. Автор ставит своей целью “показать прямую связь между национализмом и формированием сознания и здоровья современных людей” (С. 120). “Если я права, продолжает Гринфельд, – то более глубокое и точное понимание национализма может стать ключом к лечению распространившихся душевных заболеваний, вызвавших к жизни современную психиатрию и клиническую психологию...” (там же).

Но вернемся к прерванному разговору о теоретико-методологических аспектах исследований национализма, затрагиваемых редакторами и авторами сборника. Национализм есть, прежде всего, борьба за обладание государством, за собственность на государство. Когда эти усилия исходят сверху, национализм состоит в навязывании населению официально поощряемого культурного образца (“национальной культуры”). Национализм же, исходящий снизу, заключается в стремлении снабдить некоторую культуру политической крышей. Впрочем, эта восходящая к Эрнсту Геллнеру концепция может показаться слишком узкой. Она и в самом деле охватывает не все формы национализма. Тем не менее в большинстве случаев феномен национализма так или иначе связан с феноменом государства.

Между тем, современное национализмоведение (“nationalism studies”) организовано так, что изучение национализма прочно увязывается с другим феноменом – этничностью. По мнению Тишкова и Шнирельмана, причина такого смещения исследовательского фокуса – в особенностях институционализации “nationalism studies”. Созданная еще в 1980-х гг. Энтони Смитом “Ассоциация по изучению этничности и национализма” уже самим названием предполагает неразрывную связь между переживанием этнической близости и политической организацией общества. Равным образом издаваемый под редакцией того же Смита журнал “Nations and Nationalism” делает своей программой изучение национализма как продукта развития (этно)наций.

Национализм для авторов ввводной статьи (и для большинства участников сборника) – это политический проект. Иногда этот проект оказывается удачным, иногда нет, но он всегда дискурсивен. Это значит, что развитие дискурса национализма не зависит от культурно-исторической реальности, к которой националисты апеллируют. Возможен национализм без нации. Нация может быть сформирована задним числом, уже после того, как националисты получили ресурсы (а

именно институты государства) для ее строительства. Этот взгляд резко контрастирует с популярным в российском обществоведении подходом, в котором национализм понимается не иначе как результат прихода нации к своему самосознанию. Отсюда бесконечные – и абсолютно тупиковые – дискуссии о том, какие культурные общности являются нациями, а какие нет, в чем заключаются “объективные” критерии состоявшегося “нациообразования” и проч. Авторы энергично призывают коллег оставить эти споры. Будет ли услышан этот призыв?

Другой момент статьи Тишкова и Шнирельмана, на котором нельзя не остановиться – это внимание авторов к тому, как на работу ученых, изучающих национализм, влияет идеологическая ангажированность. Чем, кроме симпатий и антипатий идеологического свойства, объяснить то обстоятельство, что одно и то же политическое явление в одних случаях квалифицируется как сепаратизм, а в других – как борьба за национальное освобождение?

Тема взаимоотношения концептов “нация” и “империя”, затрагиваемая во введении, получает развитие в статье Рональда Суни (о происхождении этого текста и месте его первой публикации редакторы почему-то умалчи-

вают<sup>2</sup>). Нация-государство, или национальное государство, – политическая форма, возникающая в Европе в эпоху модерна в результате консолидации территории, культурной гомогенизации населения и создания однородного пространства управления. Вот почему современное государство по умолчанию считается нацией-государством. Однако, делая такое молчаливое допущение, мы упускаем из виду сосуществование наряду с нациями-государствами другой политической формы, а именно империи. Почему Россия, Австрия (с 1867 – Австро-Венгрия) и Турция остались империями, а не превратились в национальные государства – ведь такое превращение обещало большую по сравнению с имперской формой государственного устройства эффективность? Какие формы практик и какие приоритеты имперских элит блокировали строительство наций (т. е. относительно однородных культурных сообществ)? И только ли в нежелании или неспособности элит коренятся причины неосуществившегося нациостроительства? Ответ Суни: не только. В некоторых случаях (в частности, в российском) имперский центр предпринимал усилия по гомогенизации населения. Но было уже поздно. То, что было

возможно в Средние века и ранее Новое время (ассимиляция гетерогенного населения в относительно гомогенном ядре протонации), сделалось практически невозможным в эпоху национализма. В эту эпоху дискурс нации и национального самоопределения стал доступен всем культурным и языковым группам. Нерусскому населению Российской империи, равно как и нетурецкому населению в Османской и ненецкому – в Габсбургской, уже нельзя было объяснить, почему им не дозволено обладание тем, чем обладают другие, а именно политическим суверенитетом.

Специфика трех названных имперских государств – их “сухопутная” природа. В отличие от Британской, Французской и Бельгийской империй с их заморскими колониями, эти государства были *территориально протяженными империями*. В империях колониального типа (Франция, Великобритания, Бельгия) имело место сосуществование демократической (точнее, либеральной) метрополии и колонизированной (по определению – недемократической и нелиберальной) периферии (С. 44). В империях же территориально протяженных такое сосуществование не было возможным. Поэтому они обнаружи-

ли себя перед дилеммой: либо сохранять иерархию, либо проводить либеральные реформы, которые с неизбежностью вели к подрыву власти старых господствующих классов.

Сталкиваясь с конкуренцией со стороны национальных государств, имперские государства пытались модернизироваться. Австро-Венгрия идет по пути делегирования властных полномочий народам, не являющимся “государствообразующими”, тем самым преобразуясь в более эгалитарное и многонациональное государство. Турция начинает осторожное строительство политической нации из всех народов империи. Россия принимает меры по правовой, административной и культурной гомогенизации периферии – “русификацию” (вспомним, кстати, что этот термин Бенедикт Андерсон употреблял как понятие нарицательное<sup>3</sup>). Вместе с тем российская монархия пытается “национализироваться”, стать более близкой к (русскому) народу и в публичных репрезентациях, и в собственном восприятии.

Тема нации и империи – и, соответственно, национализма и империализма – разрабатывается в статье Алексея Миллера, посвященной русскому национализму в

империи Романовых. Автор polemизирует с распространенной точкой зрения, согласно которой русские националисты не делали различия между империей, национальным государством и нацией, а потому их политический проект заключался в преобразовании империи в национальное государство. Если перевести эту программу в плоскость практики, то российскому политическому руководству следовало либо ассимилировать все нерусское население империи, либо отделить русское национальное ядро от нерусских окраин. Между тем позиция русского национализма (за исключением его экзотических и, как сказали бы сегодня, экстремистских версий) была гораздо более нюансирована. Чтобы это показать, Миллер вводит понятие “воображаемое отечество”, или “воображаемая национальная территория”. Образ этой территории варьируется в зависимости от (а) идеологической позиции и (б) географического расположения земель, о которых шла речь.

Так, в символической топографии, характерной для националистов круга Михаила Каткова, на западных окраинах империи отчетливо выделялись три зоны: “исконно русские” земли, литовские земли и польские земли. Ли-

<sup>2</sup> Рональд Суни. Империя как она есть: Имперская Россия, “национальное” самосознание и теории империи // Ab Imperio. 2001. № 1-2. С. 9-72.

<sup>3</sup> Б. Андерсон. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. Москва, 2001. С. 108.

товские земли не воспринимались как территория, население которой вряд ли удастся сделать русским в культурно-этническом смысле, но которую тем не менее полагалось желательным удерживать в составе империи. А вот польские земли следовало отторгнуть от государства как безнадежно чуждые и враждебные. Дискурс национальной территории, не совпадающей с территорией империи, находит отражение у такого либерала и империалиста, как Петр Струве. Петр Бернгардович проводит различие между “национальным государством-ядром”, где “русские племена спаялись в единую нацию”, и окраинами, которые лишь предстоит включить в национальное тело. При этом он говорит о разных способах связи между населением окраин и ядра: в одних случаях она “чисто или по преимуществу государственная”, т. е. основана на политической лояльности, в других имеет под собой культурную основу и в перспективе “в своем окончательном развитии” может прийти “до полного уподобления, обрусения ‘иностранцев’”.

В применении к незападным окраинам империи, в частности к Поволжью, а впоследствии к Сибири, воображаемая география и, соответственно, политическая риторика строились иначе. Здесь акцент делается не на этнической

общности (как в случае полемики с польскими оппонентами, когда русские националисты подчеркивали общие корни восточных славян), а напротив – на многообразии составляющих русского народа, в частности на его финно-угорских элементах.

Миллер обратил внимание и на такую особенность русского националистического проекта, как его конкурентные отношения с другими аналогичными проектами – немецким в Прибалтике, польским в Западном Крае, татарским в Поволжье. Все эти проекты обладали мощным ассимиляторским потенциалом. Причем ассимиляторский потенциал у татарского национализма одно время был выше, чем у русского.

Коль скоро национализм – это всегда политический проект, то задача исследователей состоит, на мой взгляд, в том, чтобы проанализировать: (а) в каких условиях этот проект формулировался и (б) кто является его носителями.

Приведем несколько примеров того, как такой анализ проводится участниками рецензируемого сборника. В статье Е. Ю. Ваниной об индийском национализме середины XIX – середины XX века идет речь о грандиозной работе по формированию нации из конгломерата разных этнических сообществ. Автор подчеркивает, что народы, населяющие сегодняш-

нюю Индийскую федерацию, живут в едином государстве немногим более полувека. Империи, существовавшие на Индийском субконтиненте в древности, никогда не охватывали всей территории современной Республики Индия. Первый и до сих пор наиболее влиятельный проект индийской нации был представлен политиками из партии “Индийский национальный конгресс”. Дж. Неру, ее практически бессменный лидер, разработал концепцию индийской истории, которая вошла в учебники и интенсивно пропагандировалась через средства массовой информации. Это секулярная концепция Индии как полиэтнического (многоязыкового и многоконфессионального) сообщества. Конкурирующую концепцию национальной истории предложили адепты индуистского национализма, группирующиеся вокруг “Бхарата джаната партии” (BJP). В их интерпретации история Индии предстает как история борьбы “индусской нации” с “захватчиками” – британцами и мусульманами. Понятно, что в этой интерпретации людям, исповедующим иную веру, а не индуизм, в принадлежности к индийской нации отказано.

Весьма любопытный случай представляют собой идеологии “кельтской нации”, получившие распространение в сегодняшней

Европе. Перед нами чистой воды миф (ибо кельты исчезли с лица земли более двух тысяч лет назад), однако миф, оказавшийся весьма функциональным. К нему прибегают четыре группы политических и общественных активистов. Это, во-первых, идеологи региональной самобытности – в Бретани, в Шотландии, в Северной Ирландии, в Уэльсе, в Северной Италии. В каждом из этих “локализмов” апелляция к кельтским корням служит обоснованию если не сепаратизма, то, по меньшей мере, изоляционизма. Во-вторых, экскурсы в кельтский (во французском случае – галльский) период используются для удлинения той или иной национальной истории. Вести происхождение собственной нации от кельтов престижно. Конкурирующие нарративы о своем кельтском происхождении строят французские, испанские и, разумеется, ирландские националисты. А вот идеологи шотландского национализма относятся к экспериментам с кельтскими корнями настороженно. С одной стороны, “они, конечно, нуждаются в ярких символах, отделяющих их от Англии, но, с другой, им в не меньшей мере требуется отгородить себя от Ирландии” (С. 461). В-третьих, кельтский миф соблазнителен для обоснования общего европейского прошлого. Кельтам как “общим

предкам европейцев” была посвящена не одна выставка, щедро оплаченная из бюджета Европейского союза. (На этом пути, правда, возникает множество непреодолимых трудностей, ведь ареал расселения кельтов не совпадал с границами сегодняшнего Евросоюза). Наконец, в-четвертых, тот же миф, но с другими коннотациями употребляется для конструирования “белой” идентичности идеологами современного расизма. В статье Шнирельмана, помимо анализа функций кельтского мифа и социальных запросов, которым он отвечает, собран богатейший материал культурно-антропологического и историографического характера.

В ряде статей освещаются коллизии, возникающие в процессе конструирования национальных идентичностей. О. В. Хованова показывает, как в течение XIX столетия изменялись представления о том, что составляет содержание “венгерскости”. Дискурс венгерского национализма поначалу формировался не на языковой и культурной, а на территориальной и династической основе. Жители Венгрии (будь они мадьярского, немецкого или славянского происхождения) воображались местными элитами как члены венгерской нации (“*natio Hungarica*” в Средние века, термин “*Hungari*” в раннее Новое

время) постольку, поскольку были подданными одного короля. “Люди писали, проповедовали и преподавали на двух-трех языках, за границей же они называли себя *Hungari*” (С. 381). Во второй половине XIX века венгерский национализм развивался в рамках ответа, с одной стороны, Вене Габсбургов, а с другой стороны, ответа национализмам мадьярского населения венгерской части Австро-Венгрии. Еще в 1860-е годы среди элит Будапешта обсуждалась идея гражданской нации, членство в которой не определялось бы языком. В 1868 г. был даже принят закон “О равноправии национальностей”, предусматривавший право граждан Венгрии использовать родной язык в суде и в письменных обращениях к властям. Однако в конечном итоге толерантный “государственный” национализм был вытеснен этническим мадьярским национализмом.

Еще более драматично развивались представления о том, как понимать “ирландскость” (статья Е. Ю. Поляковой). На сегодня ответ на вопрос, что делает ирландцев нацией, кажется очевидным: католицизм. Однако так обстояло дело не всегда. В первых версиях ирландского национализма Ирландия воображалась в качестве культурного сообщества (причем вырабатывали эти представления

в основном ирландские протестанты). Так было и в конце XVIII века (движение “Объединенные ирландцы”), и на рубеже XIX–XX столетий (движение “младоирландцев”, основанное протестантскими интеллектуалами в Дублине). Образ Ирландии как страны, в которой живут ирландцы двух вероисповеданий, оставался на повестке дня вплоть до Первой мировой войны. И лишь после 1916 г. в результате срыва военного призыва и после подавления Пасхального восстания произошел окончательный раскол общества на “гэльских” и “британских” ирландцев. Первые мыслят себя как граждан независимого ирландского государства, вторые – как подданных Британской короны.

М. А. Липкин предлагает увлекательное повествование о конкуренции двух моделей “британскости” – консервативной и лейбористской. Тори делают акцент на британской уникальности. Британскость в их риторике – эвфемизм “английскости”, причем если в прошлом “*Englishness*” носила скорее включающий характер, то с приходом к власти в 1979 г. Маргарет Тэтчер в ней проглядывали черты до боли знакомого английского национализма (комплекс превосходства по отношению ко всем неангличанам, изоляционизм, подчеркивание “традиционных” ценностей – се-

мьи, монархического патриотизма и пр. ). У лейбористов апелляция к британскости имеет совсем другой смысл. Здесь подчеркивается изначальная плюралистичность данного выражения. Речь идет об идентичностях, а не об идентичности. В кругах, близких к лейбористам (и шире – в левой части политического спектра) предпочитают говорить не о “британской культуре”, а о Британии мультикультурной. При этом часть левых идет столь далеко, что вообще ставит вопрос о правомерности метанарратива под названием “британскость”. Последний несет в себе неисправимо расистские коннотации. Поэтому если и стоит заводить разговор о выработке некой концепции британской нации и британской истории, то только при условии, что в ходе такого разговора выйдет наружу колониальное и расистское прошлое страны.

Противоречия, возникающие в ходе конструирования национальных идентичностей в государствах постсоветской Средней Азии, в частности в Узбекистане и Таджикистане, освещает С. Н. Абашинов. Для политического руководства современного Узбекистана узбеки – это “один народ, который говорит на двух языках, таджикском и узбекском”. При этом девиз узбекских властей “мы с вами одной крови” обращен к таджикам

и ираноязычным жителям Узбекистана, а не к таджикам вообще. Каримова и его окружение этническая принадлежность населения Таджикистана не интересует. Это понятно: здесь работает *raison d'être* государства. Ташкенту необходимо обеспечить единство населения Узбекистана, а значит – подчеркивать его “этническую” общность и стирать различия.

Совсем иное дело – официальный таджикский национализм. Для таджикского руководства таджик – этнокультурная категория. Даже если люди идентифицируют себя иначе (как произошло с населением Самарканда и Бухары), они – таджики. Более того, в проекте таджикского национализма все оседлое население бывшего Туркестанского края, Бухарского эмирата и Хивинского ханства, будь оно ираноязычное или двуязычное (пользовавшееся и иранским, и тюркским языком), следует считать таджиками. Это касается даже тюркоязычных сартов. В логике таджикского национализма история и культура сартов есть история и культура таджиков, “забывших” таджикский язык.

В дискурсе узбекского национализма (в частности в академических его версиях, которые составляют предмет внимания Абашина) развертывается повествование о древности “узбекского

этноса” и “узбекской государственности”, развитие которой началось во II тысячелетии до н. э. и было прервано сначала российским, а затем советским колониализмом. Однако когда заходит речь о восстановлении этой государственности, официальная узбекская историография говорит о “борьбе за национальную автономию Туркестана”, а термин “узбеки” почти полностью исчезает из изложения, уступая место термину “туркестанцы”. Абашин находит объяснение этой “забывчивости” в другом труде – коллективной монографии “Туркестан в начале XX века”, выпущенной Институтом истории Узбекской академии наук в 2000 году. Авторы этого труда также много рассказывают о древнем “узбекском народе” (который выступает здесь как этническая, культурно-историческая общность). Но, подбираясь к 1924 г., они меняют словоупотребление, и оказывается, что на территории Туркестана “чересполосно” проживали многие народности и что их сильное смешение должно было привести к их “постепенному слиянию и сближению”. Тем самым нас подготавливают к восприятию тезиса о полиэтнической узбекской нации (хотя интеллектуальная честность и не позволяет авторам использовать термин “узбекская” – они пишут о “тысячелетней средне-

азиатской государственности”). Итак, налицо явная нестыковка двух нарративов: рассказа о древней узбекской (этно)нации и рассказа о полиэтническом туркестанском народе, ставшем прототипом (сверхэтнической) узбекской нации.

Не менее противоречив, хотя и по другим причинам, таджикский националистический дискурс. В отличие от своего узбекского визави, таджикский национализм не руководствуется этатистским императивом. Он и не может им руководствоваться, поскольку политическая единица под названием Таджикистан включает в себя униженно мало территории “Исторического Таджикистана”. Между тем идея “Исторического Таджикистана” таит под собой немало подводных камней. Главный из них: не совсем понятно, чем таджики отличаются от иранцев, также говорящих на фарси. Существует, кстати, идеология “большой иранской нации”, в которую включаются таджики. Эта идеология подрывает легитимность современной таджикской государственности. Если же попытаться защитить “таджикскость” от растворения в “иранскости”, то демаркацию придется проводить не столько по языковым и культурным, сколько по религиозным границам (таджики – в основном сунниты, иранцы – ши-

иты). Однако такое отмежевание порождает новые проблемы. Во-первых, апелляция к суннитскому исламу влечет за собой совершенно иную лояльность, которая скорее подрывает лояльность государству, чем подкрепляет ее. Во-вторых, в структуре населения сегодняшнего Таджикистана (т. е. в составе “таджикской нации”, к которой адресуются власти Душанбе) есть народности, придерживающиеся несуннитского ислама, да и среди этнических таджиков есть и шииты, и исмаилиты.

Многие авторы сборника (кто явно, кто неявно) проводят мысль о ситуационном характере феномена этничности. Эксплицитную полемику с этноцентризмом отечественного обществоведения ведет, в частности, А. Н. Кожановский, разбирающий случай Испании. Распространенный в российском обществоведении взгляд на Испанию – это представление о ней как о стране, в которой сосуществуют четыре этнических (основанных на общности языка) сообщества. Таковыми являются кастильцы (в свое время сумевшие навязать собственное наречие в качестве нормированного испанского языка), каталонцы, баски и галисийцы. Между тем это представление даже приблизительно не соответствует действительности. Дело в том, что основанием, на котором строятся

идентичности живущих в Испании сообществ, является не язык, а регион. Население провинции Наварра, исторически входящей в область распространения баскского языка, осознает себя наваррцами, а не басками. Говорящие по-каталански жители Арагона, Валенсии и Балеарских островов считают себя арагонцами, валенсийцами и балеарцами, а вовсе не каталонцами, как можно было бы предположить, исходя из привычной схемы. Их сознание – “областническое”, а не “этническое”. Вот почему они категорически противятся попыткам каталонских националистов записать себя в члены “каталонской нации”.

Тема еще одной статьи Тишко-ва, “Российская нация и ее критики”, завершающей сборник (но почему-то помещенной в часть третью, посвященную гораздо более узкой тематике), – прошлое и будущее российской гражданской нации. Автор пытается раскрыть глаза коллегам на то, что общность, которую принято называть нацией, в России давно уже сложилась. Поэтому разговоры о “нациостроительстве” применительно к нашей стране пора прекратить как беспредметные. Исторически эта общность могла называться и российской, и русской (долгое время эти термины были вполне взаимозаменяемы). Однако в наши дни ее следует имено-

вать российской, а не русской. Во-первых, потому, что в современном словоупотреблении термин “русский” приобрел этнический смысл. Во-вторых, потому, что этот термин занят русским этническим национализмом, и пытаться переиграть его сторонников, отобрав у них слово “русский” и придав ему сверхэтническое значение, – занятие бесперспективное.

В заключение остановимся на проблематичных моментах книги, а также на ошибках, от которых, увы, никто не застрахован.

В том, что труд получился солидный, нет сомнений. Но я не думаю, что его солидность пострадала бы, если бы редакторы нашли для него менее обязывающее название. Те, кто приобретет книгу в надежде заполучить своего рода энциклопедию, явно обманутся в ожиданиях. Во-первых, по причине скромного географического охвата обсуждаемых случаев. Список стран и континентов, о национализме в которых в книге не сказано ни слова, занял бы слишком много места. Во-вторых, по причине разнокалиберности статей. Если сравнить, скажем, текст Е. Филипповой с текстом А. Мещерякова, то нельзя не увидеть, что первый представляет собой полновесный трактат, тогда как второй – скорее, очерк. Работа Филипповой сообщает

массу нового о французском национализме: о различных образах французской нации, о конкурирующих моделях национальной идентичности, о фигурах Другого, конститутивных для этой идентичности, об эволюции представлений о национальности и гражданстве и о не прямой связи этих представлений с иммиграционной политикой. А вот из работы Мещерякова много нового о японском национализме узнать не удастся. У этой работы, правда, довольно специфическая тема: “Визуализация императора Мэйдзи и формирование японской нации”. И все же хотелось бы, пусть и в преломлении сквозь эту призму, получить ответ хотя бы на некоторые вопросы. В каком политическом и экономическом контексте сделалось актуальным формирование японской нации? Какие общественные силы были в этом проекте заинтересованы и каким образом (через какие институты) были вовлечены в его реализацию? Как мероприятия по формированию нации сказались на религиозной жизни (учитывая, что население Японии исповедовало разные верования)? Но автора, увы, подобные вопросы не интересуют.

Как уже было отмечено выше, национализм в том значении, которое этот термин приобрел в современном академическом дискурсе, так или иначе связан с государством (по умолчанию считающимся нацией-государством). Что касается вызовов, бросааемых лояльностью нации-государству со стороны идеологий, предлагающих иные объекты лояльности (панисламизм, панславизм, пангерманизм, панамериканизм, панназианизм), то их вряд ли стоит рассматривать в одном ряду с национализмом. Панарабизм, о котором идет речь в статье Г. Косача (кстати, весьма информативной), относится как раз к числу таких конкурирующих с национализмом идеологий. Лояльность “арабской нации”, к которой призывают сторонники панарабизма, плохо сочетается с национальными лояльностями современных египтян, иорданцев, сирийцев, ливийцев, аравийцев и т. д. Поэтому текст Косача либо следовало иначе назвать (например, используя терминологию, предложенную в свое время Л. Снейдером<sup>4</sup>), либо отвести ему более подходящее место, чем глава “Исторические и региональные формы национализма”.

<sup>4</sup> См.: Louis Leo Snyder. *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*. Westport, 1984. См. также главу “Национализм и паннационалистические движения” в книге: В. С. Малахов. *Национализм как политическая идеология*. Москва, 2005. С. 262-268.

Сходные претензии могут быть предъявлены и к месту, которая заняла в книге статья Шнирельмана “Цивилизационный подход как национальная идея” (она помещена в первой – методологической – части). В этом тексте, как это всегда бывает с работами, выходящими из-под пера Шнирельмана, читателей ждет изобилие тщательно проработанного эмпирического материала. Нет вопросов и к теоретической составляющей работы. Автор весьма убедительно показывает, что “цивилизационный подход”, получивший широчайшее распространение в постсоветском обществоведении, представляет собой политкорректный эрзац “националистического” подхода. Цивилизации для приверженцев данной методологии – не более чем эвфемизм “этносов” и “наций”. Только от взора придирчивого читателя вряд ли ускользнет, что эта статья имеет весьма отдаленное отношение к теоретико-методологическим аспектам изучения национализма.

Есть в книге и мелкие огрехи, возникшие от не совсем профессиональной работы корректоров. Например, Мирослав Хрох (*Miroslav Hroch*) транслитерируется то как “Хрох”, то как “Грох”, Майкла Хектера (*Michael Hechter*) не сразу узнаешь в написании “Техтер”, а Петера Альтера (*Peter*

*Alter*) – за англизированным именем “Олтер”. Московской американистке Татьяне Венедиктовой сменили пол: в сноске на С. 34 она фигурирует как Т. Венедиктов. Все это, разумеется, мелочи, которыми можно было бы и пренебречь, не вкрадись они в книгу, вышедшую в издательстве “Наука”.



### Serhy YEKELCHYK

Валер Булгаков. История белорусского национализма. Вильнюс: Институт белорусистики, 2006. 331 с. ISBN: 80-86961-15-X.

This interesting book begins with a strikingly humble, even self-deprecatory, preface. Already on pages 10-13 Valer Bulhakau provides a lengthy catalogue of his book’s shortcomings: unoriginal theory and methodology, interpretations often borrowed from more developed Ukrainian scholarship, insufficient knowledge of recent Belarusian publications, sketchy referencing, stylistic and methodological differences among the three parts of the book, and conceptual inconsistencies that occur in the text. To top it all off, the author states that the first hun-